

ВАЛЕНТИНА СЕМЁНОВА

## “ВОЗВРАЩЕНИЕ” АЛЕКСАНДРА КАЗИНЦЕВА

*Александр Казинцев. Возвращение. — М.: Вест-Консалтинг, 2021.*

Где-то в 2000-е годы в Дни “Сияния России” мы, иркутяне, впервые узнали об Александре Казинцеве. Его как гостя праздника представил Валентин Распутин и обратил наше внимание на “Дневник современника”, который вёл тогда Александр Иванович в журнале “Наш современник”. Это были очерки на самые острые темы перестроечной России — идеология и политика. Поражала глубина анализа в сочетании с блистательным публицистическим стилем.

В Иркутске он побывал не однажды, представляя журнал как первый заместитель главного редактора Станислава Куняева, а затем и как наставник молодых дарований, открывая их на семинарах и после публикуя на страницах журнала. Он стал и другом иркутских писателей, заинтересованно участвуя в подготовке спецвыпусков “Нашего современника”, больше чем наполовину заполненных их произведениями.

Неожиданная смерть Александра Ивановича в декабре 2020 года потрясла всех, кто его знал. Свыкаться с ней предстоит ещё долго. И вот до Иркутска дошла его последняя книга, посмертное издание, предпринятое вдовой Ниной Алексеевной Казинцевой. И словно бы Александр Иванович вновь появился здесь, среди нас, но уже не как сотрудник журнала, а как поэт и литературный критик.

\* \* \*

В книге “Возвращение” всего шесть очерков разных лет (от 1983-го до 2017-го), по три в каждой из двух частей — “На фоне зарева” и “Возвращение”.

С первых страниц возникает редкое в наши дни ощущение: как легко читать умные, серьёзные книги на полновзвучном и понятном русском языке! Без привлечения иноязычной лексики, которая как будто для того и берётся, чтобы не прояснить, а затемнить, а то и переиначить смысл высказывания за счёт новых оттенков чужого слова. Здесь тот самый случай, когда чтение доставляет удовольствие.

А серьёзность в следующем: очерки подчинены одной большой теме: художник (поэт в нашем случае) и народ. Важно, что тема раскрыта на материале разных исторических эпох, национальных бедствий и творческих поисков.

Названия частей так и прочитываются: первая — это зарево революции, гражданская война, вторая — возвращение к ценностям культуры Золотого века.

\* \* \*

Личность Александра Блока, по времени принадлежащая веку Серебряному, высвечивается с новой стороны — не только как символиста, призывавшего очистительную грозу революции, но и как представителя русской дворянской культуры. Важно и то, что у исследователя появилась возможность шире привлекать малоизвестные прежде источники, например, мемуары Андрея Белого, запечатлевшие дружбу-вражду между ним и Блоком: “Тут древние, родовые счёты. Рисуя друга типичным дворянином, Белый изобразил себя типичным интеллигентом”, — отмечает автор очерка, написанного к 120-летию со дня рождения поэта.

Через подмосковное имение деда по матери, А. Н. Бекетова, где прошло детство Блока и куда он стремился все годы, поэт оказался более крепко, чем другие из его круга, связан с родной землёй. Шахматово, помещичье-крестьянский уклад жизни, природа и поэзия стали почвой, питавшей его творчество. Говоря об этом, Казинцев уточняет смысл привычных слов “родная земля” применительно к миру поэта.

“Прежде всего, земля населённая — не наши обезлюдившие на много километров просторы. Земля соседних деревень и усадеб, сельских погостов и церквей. Согретая молитвой, одухотворённая песней в поле, оживлённая цоканьем копыт скакуна. И больше того, земля, которую объёмлет, берегает, украшает мысль о ней жителей этих усадеб и сёл. Мысль, рождённая ею же, почвой (разрядка его). Не этот ли образ стоял перед глазами Блока, когда он писал...: “Чем больше чувствуешь связь с родиной, тем реальнее и охотней представляешь её себе как живой организм... Родина — это огромное, родное, дышащее существо, подобное человеку, но бесконечное, более уютное, ласковое...”

В этом отрывке, кажется, заложено зерно всех дальнейших размышлений Казинцева о Блоке, о неизбежности его трагической судьбы. Обращаясь к стихам поэта о России, поэмам “Скифы”, “Возмездие”, статьям “Народ и интеллигенция”, “Интеллигенция и революция”, дневниковым записям и письмам, критик прослеживает полный противоречий и глубоких прозрений путь бесстрашно искреннего лирика и публициста. Этот путь вместили в себя “три заветных темы у русской культуры XIX века”: тему России и Запада, народа и интеллигенции, самоопределения личности. К ним критик присоединяет четвёртую, “пронзительно звучащую”, повторённую Блоком после Белинского и Достоевского, — тему невозможности счастья, если рядом существует мир обездоленных людей. У Блока эта тема звучит по-своему — от “пафоса вины” к “пафосу мести”, к категорическому неприятию буржуазности с её сытым самодовольством.

Аристократизм помещицкой России у Блока был ближе к народу, чем демократизм у бескорневой интеллигенции, считает критик. В очерке правомерна мысль о совестливости Блока, заставлявшей видеть в себе кровное начало и “крепостников”, и интеллигентов-“шестидесятников”, но в итоге поэт осознаёт: “Я — художник — следовательно, не либерал”, “Беспочвенности... я не принимаю”; “Нигде не жизненна так литература, как в России”.

Подмечено много деталей, раскрывающих внутренний мир Блока: выбор темы кандидатского сочинения по “Запискам” А. Болотова, философа-помещика, открывшего высокий смысл обыденной сельской жизни; неприятие европейской бездуховной цивилизации; отказ воспользоваться славой создателя поэмы “Двенадцать” и читать её за деньги в стиле поэта-куплетиста; предпочтение пути летописца эпохи, готовность “умалиться” до роли хрониста, что на деле, по мнению критика, означало стать больше себя...

Можно приводить и приводить тонкие наблюдения автора очерка, написавшего духовный портрет Блока. И он получился убедительным.

Но хотелось бы остановиться на последнем — жертвенности поэта, ещё в начале 17-го года верившего, что “Россия будет великой”, а в июле уже ощутившего страх за неё. Показательна приведённая критиком дневниковая запись: “... Если распылится Россия? Распылится ли и весь “старый мир”...”

уступая место новому... или Россия будет “служанкой” сильных государственных организмов...”

То, что пришло вслед за революцией, разочаровало. Запись об “отвратительном” Зиновьеве, правителе Петрограда, чувство, что гоголевская тройка “летит прямо на нас” — всё это тем не менее не заставило Блока снять ответственность с себя: “Нечестно говорить: это сделано не нами”.

“Ни одним словом упрёка Блок не оскорбил народ. А для распалившихся в жажде насилия множеств он, как и подобает поэту, находит точное слово — толпа”, — утверждает критик и подчёркивает добровольность его жертвы: “Заболевание от нервного истощения и голода, он не противился болезни”.

“Вечерняя жертва века”... Перекликается с библейской жертвой вечерней, которую приносили верующие в ветхозаветные времена...

По Казинцеву, эта жертва не во имя настоящего и не во имя прошлого: “Она — во имя вечности. Во имя вечного искусства, которое поэт не унижил приспособленчеством и ложью. Вечного стремления к справедливости и равенству людей”.

\* \* \*

Тема “Художник и народ” продолжена в следующем очерке, названием которого стала строчка из стихотворения Бориса Пастернака “На ранних поездках” — “Я наблюдал, благодаря...”. Внимание критика отдано трём поэтам — Борису Пастернаку, Анне Ахматовой, Николаю Заболоцкому, их творчеству середины XX века.

Именно тогда, перед началом Великой Отечественной войны, но особенно во время неё произошло сближение этих камерных, как считалось, поэтов с народом, “слияние двух начал — личностного и народного”, “что с этой точки зрения, — по мнению Александра Казинцева, — почти не рассматривалось” критикой. Названа причина: их ранние произведения не были так проникнуты народной темой, как более поздние. Эволюция была бы невозможна, заметил он, если бы не было встречного движения — овладения широкими массами классической литературы. Также имело значение, что у наиболее талантливых поэтов начала XX века, в том числе и названных, был опыт отставивания классического искусства в борьбе нового со старым. Казинцев подчёркивает, что преобразование поэтов проходило без “всякой парадности”, это была “внутренняя перестройка, растянувшаяся почти на полтора десятка лет”.

Касаясь военных страниц биографии поэтов, автор показывает, как мужественно и терпеливо переносили они бытовые тяготы, как Пастернак вместе со многими другими москвичами дежурил во время ночных бомбёжек на крышах, а в осаждённом Ленинграде Ахматова рыла траншеи.

Приведены строки стихов Пастернака о безудержности русской судьбы:

*...И на одноимённой грани*

*Её поэтов похвала,*

*Историков её преданья,*

*И армии её дела.*

.....

*И вот на эту ширь раздолья*

*Глядят из глубины веков*

*Нахимов в звёздном ореоле*

*И в медальоне — Ушаков.*

И знаменитое “Мужество” Ахматовой — “Мы знаем, что ныне лежит на весах...”, строки которого были расклеены на улицах блокадного Ленинграда и звучали как клятва.

Очень важное направление отмечает автор очерка в послевоенном творчестве этих поэтов: осмысление исторического пути страны, когда “во всём... хочется дойти до самой сути... до оснований, до корней, до сердцевины” (Пастернак), когда в стихах-портретах Заболоцкого, лирике Ахматовой звучит сострадание к современнику, на долю которого выпали самые жестокие испытания века.

Выход поэтов к “моря простоты” приводит Казинцева к убеждению, что “выстраданное художниками и всем народом право называть добро добром, а зло — злом будущие историки назовут одним из важных завоеваний человека XX столетия”. И здесь критик обращает внимание читателя на стихи Заболоцкого “Казбек” и “Противостояние Марса”, восходящие к “грандиозным аллегориям поэтов XVIII столетия”, где образу бездушной ледяной вершины и “кровоавой звезды” противопоставляются образы простых людей, живые человеческие души.

Автор не скрывает своего потрясения тем, как после огромных жертв, после “сотен... рвов, наполненных телами расстрелянных, забитых палками, замученных в первой половине XX века, с его Хиросимой и Нагасаки, рождаются стихи, в которых утверждается чужеродность зла по отношению к народу и его земле”. По его мнению, “это, пожалуй, самое поразительное и самое впечатляющее оправдание человека в истории мировой культуры”.

Через весь очерк проходит мысль о том, что слитность поэта и народа является огромной силой для преодоления всех бед и невзгод, утверждения лучших начал жизни. И это не что иное, как утверждение соборности — одной из главных традиционных ценностей Руси—России.

\* \* \*

Грозное время круто меняло пути поэтов, и, может быть, наиболее странной и трагичной предстаёт судьба Осипа Мандельштама. Очерк “Я — русский поэт!”, ставший вступительной статьёй к его книге “Стихотворения” (1991), Александр Казинцев начинает “с едва ли не комической ситуации”, когда поэт выкрикивает эти слова в приёмной директора Государственного издательства, так и не дождавшись, когда секретарша пропустит его в кабинет.

Последуем за автором очерка и вместе с ним обратимся к началу пути поэта. Само его появление в Петербурге в 1910 году не предвещало спокойного будущего, когда девятнадцатилетний Осип вышел из вагона третьего класса заграничного поезда без ничего — чемодан был потерян в дороге, “точно и впрямь свалился с какого-то Марса на петербургскую мостовую” (Г. Иванов).

И дальше Казинцев приводит свидетельства Георгия Иванова. Юноша из весьма небогатой еврейской семьи: отец — неудачник-коммерсант, тяжёлая тишина в мрачной квартире. Жизнь “столицы полумира” и манит, и пугает...

В первой книге “Камень” (1912) Мандельштам заявил о себе как поэт, возросший на историко-культурном слое разных эпох и народов, достаточно отчуждённый от русской культуры. За спиной ни семейных, ни иных, связанных с почвой преданий. Но чисто в творческом плане критик отмечает “доверчивость и задушевность его признаний”, чувство музыки (“Но музыка от бездны не спасёт!”); услышанный “внутренний крик”, с каким рождается ребёнок и который заглушается “общественными приличиями” — приметы уже настоящего таланта.

“Бешеный поток событий” в России вверх Мандельштама в процесс единения с людьми в годы революции “наглядно и грубо”. Не романтизируя насилия, поэт искал внутренней свободы в России, преображённой революцией. Но очень быстро в его стихи приходит прозрение грядущей трагедии.

*Кто знает? Может быть, не хватит мне свечи —  
И среди бела дня останусь я в ночи...*

1917 год. Продолжая своё исследование, Казинцев показывает, как одновременно меняются культурные предпочтения поэта, филолога-романиста по образованию. В его статье “О природе слова” “звучит ликующая хвала русскому языку”, утверждается мысль: “Ни один язык не противится сильнее русского назывательному и прикладному назначению”. “В статье “Кое-что о грузинском искусстве” считает необходимым подчеркнуть: “Никогда русская культура не навязывала Грузии своих ценностей”. Попутно автор очерка упоминает и о том, как в заметке об А. Белом “с язвительностью отзывается Мандельштам о буржуазном мире”, как не приемлет “нечистого” благополучия сытой Европы.

Всё это можно понять: путь Мандельштама совпадает с путями других его современников-поэтов, уходящих из разного рода “измов” в классическую

традицию и реальную действительность. Удивляет другое: приятие всего, что есть Россия. И это был, по утверждению критика, сознательный выбор поэта.

Но больше всего удивляет в человеке, вышедшем из другого народа, ощущение русской трагедии как своей. Причём часть его народа поднялась на волне революции и вершила суды и расправы на стороне красных, но он не оказался среди них. Да, он оказался “около большевиков” — приводит цитату из воспоминаний Г. Иванова Казинцев, и это вполне могло быть, — возможно, с надеждой на защиту, когда почувствовал, как “с каждым днём слабеет жизни выдох”. Да, видно, они его не признали за своего. . .

А он не мог молчать о гибели крестьян от голода на Украине и юге России. “Сугубо городской поэт с фамилией явно некрестьянской, — пишет Казинцев, — притронулся к той запретной теме. Зная, что его ждёт”.

Стихи “Старый Крым”, “Квартира тиха, как бумага. . .”, “Мы живём, под собою не чуя страны. . .” стали доказательством на следствии его “преступной деятельности”. А после “Стихов о неизвестном солдате”, о “миллионах, убитых задёшево”, вскоре оборвалась и его жизнь.

Погружая читателя в судьбу поэта, считавшего себя русским, осуждённого и погибшего в 1938 году, Казинцев возражает тем мемуаристам, которые видели причину его гибели в отвлечённо-экзотических стихах, ненужных новому строю. Нет, он погиб за то, что в его “мы”, от имени которых он говорил правду, власти увидели протестное слово народа, убеждает автор очерка, ещё раз приближая нас к трагической эпохе и одному из самых ярких её выразителей.

\* \* \*

Необходимое отступление.

У молодого читателя этих трёх очерков может возникнуть вопрос: почему именно обращение к народу оказалось столь значимым для людей искусства? Нет ли в этом утверждении натяжки и декларации, отражения народнических настроений, свойственных России как дореволюционной, так и постреволюционной?

С XVIII века со страниц печати не сходила тема народных страданий (Радищев, Некрасов, Достоевский). В советский период случилось так, что одна часть народа жестоко пострадала, а для другой открылись пути развития, возможность подняться с низов общества и достичь высот во всех сферах жизни. Этого противоречия мы не можем осмыслить до сих пор.

Но почему именно простой народ остаётся надеждой для всех? К нему взывают правители во времена войн, к нему приникают люди искусства, когда оказываются в жизненном и творческом тупике. Наверное, потому, что людям всегда необходима опора на идеалы не меньше, чем на силу оружия и успешную экономику. В Золотом веке литературы и искусства (само название отражает высокое качество) идеальное было закреплено в религии, и это общеизвестно. В начале XX века Православие было отброшено, его должна была заменить атеистическая вера в социализм и коммунизм, отвергающая наличие высших сил. Но поскольку без веры жить и строить невозможно, то воцарилась вера во всемогущество человека, то есть человекобожие.

Однако процесс не пошёл так быстро, как того хотелось преобразователям мира. И именно в народе затаились и продолжали жить старинные устои, прежде всего духовные, заложенные многими поколениями зачастую неграмотных, но воспитанных в Православии людей. Это вера в бессмертие души, борьба с грехами и совестливый подход ко всему, отзывчивость на беду ближнего и величайшее терпение.

Мне кажется, такое объяснение причины единения с народом людей искусства может быть принято к сведению.

\* \* \*

Вторая часть — “Возвращение” — переносит нас назад, как раз в Золотой век российской культуры. Оказывается, уже тогда обозначились разные направления в литературе. Детали процесса несколько затуманились за прошедшие

столетия, как и само имя героя следующей главы книги, — Павла Александровича Катенина. Редкое издание его “Избранного” 1989 года предваряла вступительная статья Александра Казинцева под названием “Опыт беды” — о ней и речь.

Читая пушкинского “Евгения Онегина”, вряд ли кто обратил внимание на мимоходом оброненные строчки в строфе про театр:

*...Там наш Катенин воскресил  
Корнеля гений величавый... —*

(то есть перевёл и подготовил для постановки пьесу французского драматурга Корнеля).

Между тем, это поэт и критик-полюемист, который был на виду, а также переводчик, театровед, полиглот, в самобытном творчестве поддержанный Пушкиным, Грибоедовым, Кюхельбекером, а ещё участник походов против Наполеона, дослужившийся до чина генерал-майора.

И при этом — “талантливый неудачник”, по выражению автора очерка. Почему?

На этот вопрос и отвечает Казинцев, как всегда, обстоятельно, воссоздавая образ своего героя в переплетении разнообразных связей — исторических, культурных, литературных, само собой, и человеческих, и всё работает на достоверность портрета и фона.

Прежде всего, автор сосредотачивается на переломных моментах, повлиявших на судьбу Катенина: в жизни — переход из военного времени в мирное; отъезд из Петербурга в ссылку, в костромское имение Шаево, где со временем обоснуется окончательно; утрата общества, одиночество; в литературе — смена классицизма на романтизм, которого поэт не принимал, полагая чуждым и всего лишь модным явлением для русской литературы; полемика с романтиками, поэтами-“карамзинистами” — В. Жуковским, К. Батюшковым, П. Вяземским — проигранная.

Вот в такой обстановке увиден Казинцевым этот представитель Золотого века.

Критикуемый многими за тяжеловесность стиля, ещё сохранявшего черты классицизма, Катенин продолжал идти своим путём, порой попадая в тупики и мужественно из них выбираясь. Автор очерка обращает внимание на ключевые моменты преодоления обстоятельств, упорный поиск решения творческих проблем.

Так, два начала, которые не мог примирить поэт и критик, — индивидуализм и народность — постепенно сошлись у него. Казинцев называет стихи “Софокл”, “Мир поэта”, “Ахилл и Омир”, “Идиллия”, “Элегия” “элегиями, в которых поэт оплакивает утрату воспоминаний” и утверждает, что ни у кого из современников “духовная активность памяти не имела такого звучания”.

Плодотворной названа и работа Катенина с балладой, когда “он отказался... от традиционной роли поэта-рассказчика и предоставил героям самим говорить о себе”. Прослеживается эта новизна на примере баллады “Убийца”, которую высоко ценил Пушкин, “где повествовательная ёмкость достигла предела...”

*..... То было летом,  
Вот помню, как теперь,  
Незадолго перед рассветом;  
Стояла настежь дверь.  
Вошёл я в избу, на полате  
Спал старый крепким сном.*

Пристально проследив путь поэта с начала 1810-х до середины 1830-х годов, критик в конце XX века высоко оценивает поэму “Инвалид Горев” — о простом русском солдате, что в литературном обществе “показалось неожиданным и даже экстравагантным”. Но это было “возвращением к самому себе, к основам своего мировоззрения”, уже “во всеоружии мастерства, умудрённым опытом борьбы с литературными противниками, с самим собой”. Казинцев считает, что было отвагой сделать этот последний шаг в направлении народной культуры, которая притягивала всегда, “шаг, который до этого ни он

сам, ни какой-либо другой поэт его времени сделать не решался". И с уверенностью говорит: поэма — не только итоговое создание автора, ей "суждено войти в ряд значительных произведений эпохи десятих-тридцатых годов XIX века".

В образе старого солдата, преодолевшего многие невзгоды, воплотились и черты самого автора: "отождествляя себя с героем поэмы, автор отождествлял себя со своим народом", — делает вывод исследователь.

И ещё одно очень важное замечание по поводу ценности этой поэмы для последующих эпох: "Язык и образы "Горева" подготавливают поэзию Н. Некрасова, мысли о значении подвига народа в Отечественной войне близки мыслям Л. Толстого, высказанным в "Войне и мире".

Остановился Александр Казинцев и на масштабном труде Катенина-критика "Размышления и разборы", опубликованном в 1830 году в "Литературной газете" Пушкина, содержащем, по его мнению, "богатеишие, неизвестные широкому читателю того времени сведения об истории основных европейских литератур".

Не могу не добавить: этот труд в наше время малоизвестен даже узкому кругу литераторов, в чём можно не сомневаться. Поэтому советую молодым читателям, и писателям в особенности, найти в интернете "Размышления и разборы" Павла Катенина. И вы удивитесь громадной эрудиции автора и обширности тематики этого трактата! Не удержусь от пары цитат.

Из главы "О поэзии вообще": "Для знатока прекрасное во всех видах и всегда прекрасно; судить о произведениях высоких искусств по прихотям моды — явный признак слабоумия. Одно исключение из сего правила извинительно и даже похвально: предпочтение поэзии своей, отечественной, народной... Хорошее сочинение в этом роде может достигнуть большего совершенства, нежели всякое другое, своё ближе чужого..."

А вот перечисление остальных глав: "Об изящных искусствах", "О поэзии вообще", "О поэзии еврейской", "О поэзии греческой" и далее оглашаю весь список — "...латинской", "...итальянской", "...испанской и португальской"; большая глава "О театре", и каждая — с глубоким анализом, подробностями и примерами.

Всё звучит злободневней некуда, хотя бы фраза о том, что театр в упадке повсюду и "заставляет бояться, что все советы опоздали" (примерно то же звучит и в наши дни).

С сожалением автор замечает: уже действующие и в те далёкие времена законы конъюнктуры помешали оценить по достоинству этот "едва ли не самый зрелый эстетический трактат новой трети XIX века".

...Последнее, к чему обратился Казинцев — письма Катенина, в основном, его переписка с Н. И. Бахтиным (критик и видный госчиновник 1850–1860 годов). Высокий уровень, достигнутый автором в эпистолярном жанре, когда письма становятся "страстным, полным горечи монологом", позволил отнести их также к лучшим творениям Катенина.

Остаётся сказать одно: исследование проведено Александром Казинцевым тщательно, с горячим сопереживанием судьбе "независимого, отважно-го, талантливого человека", и возвращает читателю это имя из забвения.

Для современной творческой молодёжи личность писателя Павла Катенина — пример борьбы не только с обстоятельствами, но и с самим собой, настойчивости в поиске своего истинного предназначения. И он показывает: победы можно добиться.

\* \* \*

Ещё одна вступительная статья ещё об одном малоизвестном широкому читателю авторе. Это провинциальный поэт из сибирского города Кемерово Игорь Киселёв. Название статьи — "Последний романтик", книга — "Под солнцем и ненастьем. Стихотворения", Москва, 1989 год.

Внимательный взгляд критика и сотрудника журнала "Наш современник" не только выделил Игоря Киселёва среди поэтов русской провинции, но и связал его имя с именем Николая Рубцова. Оба названы "последними романтиками". Но это не тот западный романтизм, с которым в своё время

боролся Павел Катенин. Романтик в представлении Казинцева — поэт, создающий “собственный мир, в котором больше тепла, мечты и душевности, чем в окружающем его мире”. И он уже становится защитником своего творения, своих идеалов, рыцарем, роль которого в современной действительности “не просто нелепа, она трагична”, — это было написано в конце 80-х годов ушедшего века.

Каков же мир Игоря Киселёва, что удалось ему сказать за короткий срок, ему отпущенный, если он вступил в литературу в конце 1950-х годов, а последнее прижизненное издание стихов вышло в 1980-м? Всего два десятка лет активного творчества...

Без биографической справки не обойтись, и она есть в очерке. Годы жизни поэта 1933–1981, родился в алтайском селе Павловское, окончил литфак Новосибирского пединститута, стал кемеровчанином, работал в местном книжном издательстве редактором. Помогал молодым поэтам становиться на крыло. Автор семи поэтических сборников, изданных в Кемерово, и лишь одного — в Москве, о котором и идёт речь.

Всё очень обычное, провинциальное. Но Казинцев подметил одну оскобинку. Она в том, что на совещании молодых писателей Сибири в начале 60-х стихи Киселёва отметил Ярослав Смеляков. “Дана была рекомендация, позволяющая обратиться в издательство “Молодая гвардия”. Киселёв не воспользовался ею. Ему казалось, что поэтический голос ещё недостаточно окреп, чтобы говорить, обращаясь ко всей России”.

Автор очерка увидел в этом не только “редкостную требовательность к себе”, но сознательный отказ “от соблазна ринуться на ослепительный блеск литературной жизни”.

Тем виднее для критика “обнажённая душевность” Киселёва, которая “озаряет... общий настрой стихов, вносит гармонию в причудливую смену интонаций”; отсутствие боязни показаться наивным и сентиментальным; мастерское владение сюжетом, идущее от удивительной свободы, переходящей в непреднамеренность стиха. В этой непреднамеренности Казинцев находит “свидетельство душевной чистоты и раскрепощённости” поэта, что есть, по его мнению, “высокий дар, отличающий настоящее искусство от декларативности”, называемый “прекрасным словом — моцартианство”.

Вот так: моцартианство в сибирском Кемерово!

Критика особенно привлекает в Киселёве исповедальность в соединении с простотой и то, что поэт любил своего читателя — человека обыкновенного, “живущего на фоне включённого телевизора”, и знал:

*Тебе осточертели —  
Такая полоса —  
И радио-, и теле-  
И киночудеса...*

*И хочется простого:  
Сиянья и простора  
Предутренней звезды,  
Колодезной воды.*

Очень созвучны поэтическому миру самого Александра Казинцева в пейзажных стихах поэта такие строки, как “Цветы упрямо ждали чуда, // А надо было ждать беды”, “Внезапно я вздрогнул от жажды, // Почувствовав жажду земли”, “Он к земле прикоснётся щекою, // И земля прикоснётся к нему”.

Критик много внимания уделил именно теме природы в книге Игоря Киселёва и через неё охватил, во-первых, жгучую современность экологических проблем, которую поэт “осознал... задолго до учёных”, во-вторых, боль за природу, которую губит человек, и боль за человека, не ведающего, что творит, “не предвидя тяжести расплаты”.

*Всё тревожней человеку стало  
Ждать, откуда свалится беда:  
Наводненья, оползни, обвалы,  
Зной, землетрясенья, холода.*



*Не предвидя тяжести расплаты, —  
А она придёт, и поделом! —  
Мы в природе словно оккупанты  
В городе, что сдался нам в полном...*

Каждое слово звучит, будто написанное сегодня, а не тридцать с лишним лет назад!

Творческий портрет такого “простого-непростого” поэта вызвал желание поближе познакомиться с его наследием и биографией. Найденное позволило убедиться в верности оценок Александра Казинцева. Добавилось впечатлений от многих стихов, опубликованных в полном виде. Действительно, они не нуждаются в подробном комментировании критика, они без посредника входят прямо в сердце, и читатель обнаружит в них и разнообразие тематики, и как будто нечаянную философичность, и чуткую душу лирического героя.

Этот герой — из военного детства, из строгих правил жизни суровой эпохи, но с затаённым и немалым запасом доброты.

Приятно узнать, что земляки берегут память о своём поэте, осознают величину его дарования. Имя Игоря Киселёва присвоено кемеровской библиотеке, в ней находится литературно-мемориальный музей поэта, школьники пишут сочинения по его творчеству.

К слову, о провинциальности. Такая деталь. Игорь Киселёв родился в селе, но его отец был учителем литературы, а мать писала стихи. Это означает, что данный ему от природы талант, а он, как известно, прорикает и во дворцы, и в хижины, вдохнул воздух, насыщенный ионами творчества. И потому так естественно, без натуги зазвучал его голос в поэзии.

И сегодня хочется повторить строчку, давшую название предпоследней книге Игоря Киселёва: “Благодарю, земля, благодарю” и переадресовать её поэту — за стихи, автору статьи — за то, что открыл читателю тонкого лирика.

\* \* \*

Завершает сборник сравнительно недавняя статья Александра Казинцева “Вдохновенная ошибка” (2017), посвящённая “Пушкинской речи” Ф. М. Достоевского. Сегодня, когда отмечается 200-летие со дня рождения русского гения, она вызывает особый интерес.

Критик высказал своё несогласие с несколькими положениями прославленной речи писателя, произнесённой на открытии памятника А. С. Пушкину в Дворянском собрании Петербурга. Именно тогда прозвучали наиболее часто цитируемые слова Достоевского, напомним: “...Мы уже можем указать на Пушкина, на всемирность и всечеловечность его гения. Ведь мог же он вместить чужие гении в душе своей, как родные. В искусстве, по крайней мере, в художественном творчестве, он проявил эту всемирность стремления русского духа неоспоримо, а в этом уже великое указание”.

И эта всемирность переносилась писателем на русского человека вообще, предназначение которого — “стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно”, вместить в русскую душу “с братской любовью всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой общей гармонии...” и т. д.

После выступления Достоевского, по воспоминаниям его самого и его современников, раздался гул рукоплесканий, люди рыдали, обнимали друг друга, кричали: “Пророк, пророк!” — один из студентов даже лишился чувств — такой невероятно бурной была реакция.

Казинцев объясняет эту восторженность двумя факторами: объективным и субъективным. К первому отнесена общественно-культурная обстановка тех лет, завершение Золотого века русской литературы, то есть эпохи Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Тютчева. В обществе ощущалась значимость момента. На вопрос, кто подведёт итог, кто включит этот период в историю самых славных эпох всемирной литературы, ответил Достоевский в своей “Пушкинской речи”.

Второй фактор — ситуация вокруг открытия памятника Пушкину. Оно должно было состояться 26 мая по старому стилю, в день рождения поэта,

но торжество пришлось отодвинуть на несколько дней из-за смерти жены царя Александра II императрицы Марии Александровны. Но публика съехалась, устраиваются обеды (на одном чествовали Достоевского), встречи, литературно-музыкальные вечера, градус кипения общественной жизни, несколько поутихшей после реформ Александра II, повышается. “Прогрессивная” Россия ждала судьбоносного, пророческого слова... Вот в какой атмосфере прозвучала “Пушкинская речь”, отмечает автор.

После того как всё затихло, на “Пушкинскую речь” стали появляться отклики – в том числе и отрицательные. Например, известного юриста и либерального публициста А. Градовского, вступившего с Достоевским в острую полемику, публициста и славянофила, видного общественного деятеля по крестьянскому вопросу А. Кошелева; русского писателя, близкого к народническому движению, Г. Успенского.

Критик XXI века, можно сказать, продолжил дискуссию. Упрёки коснулись толкования Достоевским пушкинских героев, взгляда писателя на крестьянство “как единый монолит”, когда “шло активное социальное расслоение в деревне...”

Но особое возражение вызвал тезис речи о “служении” России Европе. Разве “служение” пошло на пользу русскому крестьянству, получившему “в благодарность” от Европы войну 1812 года, Крымскую и Первую мировую?

Чем ближе к настоящему времени, тем больше веских доводов против позиции Европы, устремлённой к “единению”, но на антироссийской платформе. Что тут можно возразить, когда основные угрозы шли и идут к нам именно с Запада?..

И всё-таки, всё-таки... Как жаль, что эта статья не прочитана мной вовремя! Когда можно было вступить в диалог с Александром Ивановичем относительно прозрений Достоевского. Да, всё верно, и верно особенно в эти дни, когда мы встречаем 200-летний юбилей великого писателя и вспоминаем его предсказания, соотнося их с сегодняшним днём. Какое единение, если через Украину, ещё недавно братскую, стекаются против России военные силы коллективного Запада!

Но здесь же, в этой статье, приведены другие слова Достоевского. Из “Дневника писателя”, в ответ оппоненту А. Градовскому: “Да она накануне падения, ваша Европа, повсеместного, общего и ужасного. Муравейник, давно уже создававшийся в ней без Церкви и без Христа... с расшатанным до основания нравственным началом, утратившим всё, всё общее и абсолютное, – этот создававшийся муравейник, говорю я, весь подкопан”.

А что, если и это тоже пророчество? И оно к тому, что нам придётся помогать Европе? Можем ли мы сегодня с точностью сказать, насколько подкопан муравейник? Сегодня Европа ещё стоит, но что будет завтра, через пятьдесят, сто лет? Время летит неудержимо, мир меняется молниеносно, и то, что сегодня незыблемо, завтра может рухнуть. Ну, а то, что ещё не устоялось, вдруг как раз окрепнет?..

Очень не хватает в нынешнем разногласии и разномыслии рассудительного голоса Александра Казинцева...